

Глава VIII Американец

Прибытие на Запад: Оден

Отъезд в эмиграцию из Советского Союза в семидесятые годы был для отъезжающего и для провожающих событием, не лишенным трагизма. Люди верили, что расстаются навсегда, и в проходах был похоронный оттенок. Для отъезжающего, да еще такого, который никогда прежде не покидал пределы СССР, так же трагически острым было ощущение бесповоротного перехода пограничной черты, разделяющей родной, знакомый мир и мир незнакомый, чужой. У самой этой черты родина провожала изгнанника с полицейской свирепостью. У Бродского пулковские таможенники тщательно обыскали скудный багаж и в поисках непонятно чего разломали портативную пишущую машинку.

После недолгого перелета из социалистического Ленинграда оказаться в капиталистической Вене было порядочным потрясением прежде всего просто на чувственном уровне. Иной мир бил в глаза яркими красками, наполнял уши чужой речью. В воздухе пахло по-другому. После советской скудости потрясало разнообразие машин на улицах, избыток товаров в витринах. «Голова все время повернута вбок (то есть к витринам. – Л. Л.). Изобилие так же – если не более – трудно воспринимать всерьез, как и нищете. Второе все-таки лучше, ибо душа работает. Я лично не воспринимаю, как-то отскакивает и рябит», – писал Бродский через две недели после отъезда³⁷⁰. Однако шок новизны был смягчен и все сумбурные ошеломляющие впечатления отодвинуты на второй план, поскольку на границе другого мира Бродский встретил человека, которого он считал выше всех живущих, – Уистана Хью Одена (1907–1973). Это была почти случайная счастливая встреча, и она имела колоссальное значение для последующей жизни Бродского.

Бродский увидел Одена через день после вылета из Ленинграда. 6 июня со своим американским приятелем Карлом Проффером он поехал во взятой напрокат машине наудачу отыскивать городок Кирхштеттен. Там начиная с 1958 года проводил лето Оден. Не сразу, но они нашли нужный Кирхштеттен (их в Австрии несколько) и по счастливой случайности подъехали к дому Одена как раз тогда, когда к нему шел сам Оден, только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти Языка над Временем, прочитанные за восемь лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу.

В очерке «Поклониться тени» Бродский рассказывает, как в 1968 или 1969 году он увидел фотографию Одена и долго вглядывался в нее. «Черты были правильные, даже простые. В этом лице не было ничего особенно поэтического, байронического, демонического, ироничного, ястребиного, орлиного, романтического, скорбного и т. д. Скорее, это было лицо врача, который интересуется вашей жизнью, хотя знает, что вы больны. Лицо, хорошо готовое ко всему, лицо – итог. <...> Это был взгляд человека, который знает, что он не сможет уничтожить эти угрозы, но который, однако, стремится описать вам как симптомы, так и саму болезнь»³⁷¹.

369 Шутка рискованная, но ее иногда неправильно понимают в чисто агрессивном плане. На самом деле она связана с повторяющимся у Бродского мотивом об «архитектурной» роли разрушения военных времен; ср. «У Корбюзье то общее с Люфтваффе, / что оба потрудились от души / над переменной облика Европы» («Роттердамский дневник», У).

370 Письмо мне (открытка с видом венского Грабена), написанное в самолете из Вены в Лондон.

371 СИБ-2. Т. 5. С. 266. Бродский описывает фотографию Одена, снятую известным фотографом Ролли Маккенна в Нью-Йорке в 1952 г. Оден стоит на пожарной лестнице возле своей тогдашней квартиры на 7-й

Оден, которого увидел Бродский у калитки кирхштеттенского дома, был значительно старше, чем на той фотографии. Он старел быстро. Лицо было так морщинисто, что его друг Стравинский шутил: «Скоро нам придется разглаживать Уистана, чтобы выяснить – он это или не он». Ему оставалось жить немногим более года.

Как рассказывает Бродский, когда Проффер растолковал Одену, кого он привез, Оден воскликнул: «Не может быть!» – и пригласил их в дом³⁷². Оден знал имя Бродского не только из прессы, писавшей в свое время о безобразной комедии суда над молодым русским поэтом, а в эти дни о его изгнании. За два года до появления неожиданного гостя у его калитки он прочитал стихи Бродского в компетентных переводах Джорджа Клайна и затем написал небольшое предисловие к сборнику этих переводов. Это осторожно написанный текст – Оден начинает с того, что трудно, не зная языка, судить о поэте по переводам, но предисловие написано с симпатией и некоторые замечания там весьма пронизательны. Бродский был польщен и счастлив тем, что великий Оден написал предисловие к его книжке, но была в этой бочке меда и капля дегтя. Столь же положительно Оден отнесся и к стихам Андрея Вознесенского и даже блестяще перевел его «Параболическую балладу». Из этого можно было заключить, что лучший поэт английского языка рассматривает стихи русских молодых поэтов из такого далека, что не различает их принципиальной несовместимости.

В согласии Одена написать предисловие к книжке Бродского не было ничего особенного. Оден во многих отношениях представлял тип английского писателя-профессионала, умеющего заниматься литературной поденщиной³⁷³. У него была многолетняя привычка – работать за письменным столом с утра до вечера с перерывом на обед. Другая многолетняя привычка была подкрепляться при этом алкоголем. Способность вот так работать и пить произвела большое впечатление на Бродского в те дни, что он провел в компании Одена. С юмором и восхищением он описывает порядок дня в Кирхштеттене (переводы иноязычных слов даны в квадратных скобках):

«Первый martini dry [сухой мартини – коктейль из джина и вермута] W. H. Auden выпивает в 7.30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью sherry [хереса] и scotch'a [шотландского виски]. Потом имеет место breakfast [завтрак], неважно из чего состоящий, но обрамленный местным – pink and white [розовым и белым] (не помню очередности) сухим. Потом он приступает к работе и – наверно потому, что пишет шариковой ручкой – на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса bottle [бутылка] или can (банка) Guinness'a, т. е. черного Irish [ирландского] пива. Потом наступает ланч ≈ 1 часа дня. В зависимости от меню, он декорируется тем или иным петушиным хвостом (I mean cocktail [я имею в виду коктейль]). После ланча – творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью 2-го martini-dry и приступает к работе (introductions, essays, verses, letters and so on [предисловия, эссе, стихотворения, письма и т. д.]), прихлебывая все время scotch со льдом из запотевшего фужера. Или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7–8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое chateau d'... [«шато де...», то есть хорошее французское вино]. Спать он отправляется – железно в 9 вечера.

За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку; даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая авеню.

372 Там же. С. 269. Надо подчеркнуть, что за шутивым тоном письма скрывается искреннее восхищение творческой дисциплиной старого поэта.

373 В английской культурной традиции, по крайней мере со времен Даниэля Дефо, концепция писательства всегда была шире, чем в русской. Предполагалось, что писатель умеет делать любую литературную работу, а не только сочинять художественную прозу. Среди русских писателей первого ряда в прошлом таков был, пожалуй, только Н. С. Лесков.

немецкий кроссворд в австрийской Die Presse, украшенной моей Jewish mug [жидовской мордой]»³⁷⁴.

На самом деле с Оденем все обстояло не так уж весело. На старости лет ему грозило одиночество. Жить ему оставалось пятнадцать месяцев. Здоровье было разрушено, алкоголизм усиливался, и старые друзья с тревогой отмечали изменения личности: известный своей добротой и тактом Оден теперь иногда бывал груб. Откровенно игнорировал собеседников, предпочитая монологи, которые были по-старому блестящи до шести вечера, но становились менее вразумительными по мере того, как он накачивался алкоголем в конце дня³⁷⁵. Воспоминания Бродского о днях, проведенных с Оденем в Австрии, а затем в Лондоне, рисуют другую картину. Если их общение и носило односторонний характер, то потому, что разговорный английский Бродского был еще очень плох, но, главное, Оден тепло приветил неожиданного гостя и деятельно заботился о нем. Чарльз Осборн, организатор лондонского ежегодного международного фестиваля поэзии, где Оден был чем-то вроде почетного председателя, пишет: «Уистан хлопотал над ним, как насадка, на редкость добрая и понимающая насадка»³⁷⁶.

Нельзя не отдать должное интуиции Одена, который что-то угадал в молодом поэте, пишущем на незнакомом языке, проникся к нему симпатией и постарался, как мог, помочь ему справиться с психологическим напряжением первых дней в незнакомой среде. И все же эту встречу никак нельзя назвать встречей равных. Прежде всего ясного представления о том, что за стихи пишет русский изгнанник, у Одена не было, да и в личном плане не умеющего говорить по-английски Бродского он по-настоящему оценить не мог. Встреча с Бродским не была исключительно важным событием в жизни Одена. Появление Бродского на Западе сопровождала некоторая шумиха в масс-медиа, но Оден был слишком умен, чтобы такие вещи производили на него впечатление. Он и сам к этому времени был международной знаменитостью и, куда бы ни приехал, не знал отбоя от газетных репортеров и телевизионных интервьюеров. В перспективе жизни Одена Бродский был одним из нескольких десятков молодых поэтов и не-поэтов, кого Оден морально или материально поддерживал. Судя по воспоминаниям Бродского, он вызывал у Одена некоторое любопытство и просто как человек из России, страны Достоевского, Толстого и Чехова³⁷⁷. Наконец, симпатия к Бродскому питалась еще и антипатией, отвращением, которое испытывал Оден к советскому режиму, в особенности после вторжения в Чехословакию в 1968 году. На склоне жизни для Одена встреча с Бродским не была экстраординарным событием, но для Бродского встреча с Оденем имела провиденциальное значение.

На поверхностный взгляд, вырисовывается красивая эмблема, вроде той, которую он изобразил в «Стихах на смерть Т. С. Элиота», где над могилой поэта симметрично

374 Из письма мне от 2 августа 1972 г.

375 См.: *Davenport-Hines R. Auden*. New York: Pantheon, 1995. P. 325–341.

376 *Osborn C. W. H. Auden: The Life of a Poet*. New York – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. P. 325. Вероятно, подсознательно Бродский позаимствовал это сравнение в своем мемуарном очерке об Одене (1984): «В течение этих недель в Австрии он занимался моими делами с усердием хорошей насадки» (*СИБ-2*. Т. 5. С. 271).

377 В жизни Одена, помимо любви к русской классической литературе, был и некий личный «русский сектор» – он дружил с композиторами Стравинским и Николаем Набоковым (двоюродным братом писателя), с Исаяей Берлином и в последние годы жизни с Василием Яновским, нью-йоркским врачом, а также талантливым писателем и мемуаристом. По просьбе другого своего русского знакомого, поэта и критика Юрия Иваска, он написал статью-рецензию на вышедший по-английски том эссе Константина Леонтьева. В то же время близко знавший Одена Исаяя Берлин говорит: «Оден, конечно, понимал, что [Бродский] хороший поэт, который его очень уважает, но Оден не интересовался русской поэзией, Россией. Совсем нет. И Францией нет. Только Германией. У него была Италия до известной степени, но главным образом Германия. „Да, да я знаю, что я немец, – говорил мне он. – I ani a Kraut. Ничего не поделаешь, я таков, я немец“» (*Труды и дни*. С. 103).

склоняются Америка и Англия. В России, в начале литературного пути, Бродский был напутствуем последним великим поэтом Серебряного века, Ахматовой, а на переломе жизни, в дверях Запада, его приветствовал величайший англо-американский поэт, Уистан Оден. Подыскивая слова благодарности своим славным покровителям, Бродский фактически благодарит их за одно и то же: «Можно назвать это (речь идет о стихах Одена. – Л. Л.) щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человеческим и внятным. Одного этого – вдобавок к тому, что люди конечны, – достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом»³⁷⁸, – и в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» парафраз той же мысли о великом поэте, находящем святые слова прощения и любви:

...затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

(ПСН)

На самом деле симметрии не получается. Бродский близко знал Ахматову в течение нескольких лет, проводил многие часы в разговорах с ней, тогда как общение с Оденом было кратким и односторонним. Вспоминая Ахматову, Бродский подчеркивает значение ее морального примера, между ним и Ахматовой как поэтами очень мало общего. Не то с Оденом. Влияние ли имеет место, сознательное ли ученичество или конгениальность (скорее всего, и то, и другое, и третье), но практически всему у Бродского – от структуры отдельных поэтических оборотов до понимания поэтических жанров и понимания поэтического искусства вообще – можно найти параллели у Одена³⁷⁹. В личном плане между ними можно отыскать как черты сходства, так и кардинального несходства, но существенно другое – стихи русского поэта, родившегося в 1940 году, удивительно похожи на стихи англо-американского поэта, ровесника его родителей. Кажется, что встреча с Оденом помогла Бродскому оценить глубину этого редкого избирательного сродства, и после этой встречи он уже вполне сознательно до конца дней поверял свою поэтическую работу Оденом как образцом.